

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## “ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

### 5. “Верен ангела глаголу...”

Статью “С родного берега” Клюев составил в виде ответа на письмо Миролюбова и начинает с обращения: “Дорогой В(иктор) С(ергеевич)...” Летом 1908 года в письме Блоку Николай снова поминает блоковскую статью с цитатами из своего письма (“А насчёт опубликованного письма не беспокойтесь, я не то чтобы разобиделся, а просто что-то на душе неловко: не договорил ли я чего, или переговорил, или просто не по чину мне битым быть”) и поминает миролюбовскую просьбу, присланную из Парижа: “От Миролюбова я получил письмо, просит написать ему что-нибудь, показать французским друзьям, а переслать ему письмо нет никакой возможности, кроме как через Вас, потому что уж больно любопытно будет на почте да и многим другим – какие такие дела я с заграницей имею – человек-то я больно не форсистый, прямо подозрительно для знающих меня”. С находившимся в эмиграции Миролюбовым Клюев регулярно переписывался, посылал ему стихи, но сам, находясь под наблюдением властей, стремился соблюдать максимальную осторожность. 1 сентября он посылает Блоку написанную статью – сама форма послания в публицистике была привычнее Клюеву, чем какая-либо. “Напишите, как Вам нравится эта статья? Меня она очень заботит”, – просит Николай, а в следующем письме поясняет, почему со страхом и трепетом ждёт ответа: “Не хотелось бы мне брать на себя ничего подобного, так я чувствую себя лживым, порочным – не могущим и не достойным говорить от народа. Одно только и утешает меня, что черпаю я всё из души моей, – всё, о чём я плачу и воздыхаю, и всегда стараюсь руководиться только сердцем, не надеясь на убогий свой разум-обольститель. Всегда стою на часах души моей и если что и лгу, то лгу бессознательно – по несовершенству и греховности своим”. Это искреннее уничижение дорогого стоит, если иметь в виду, что Клюев – человек из народа, пишущий интеллигентам – не ощущает в себе этого права “говорить от народа”, он, знающий народ лучше и полнее, чем его корреспонденты. Вдвойне дорогого – если учесть содержание посылаемого в Париж “письма”.

На “вопрос” об отношении крестьян к республике, к царской власти и об их “настроении” Клюев даёт с в о й ответ, при этом поясняя, – “чтобы понять ответ мужика, особенно из нашей глухой и отдалённой губернии... где люди, зачастую прожив на свете 80 лет, не видали города, парохода, фабрики или железной дороги, – нужно самому быть “в этом роде”... И переходит к самому главному:

Продолжение. Начало в № 1–4 за 2009 год.

“Нужно забыть кабинетные истории зачастую слепых вождей, вырвать из сердца перлы комнатного ораторства, слезть с обсиженной площадки, какую бы вывеску она ни имела, какую бы кличку партии, кружка или чего иного она ни носила, потому что самые точные вождения, созданные городским воображением “борцов”, при первой попытке применения их на месте оказываются дурачеством, а зачастую даже вредом; и только два-три искренних, освященных кровью слова неведомыми и неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так, например: “Земля Божья”, “вся земля есть достояние всего народа” – великое неисповедимое слово! И сердцу крестьянскому чудится за ним тучная долина Евфрата, где мир и благоволение, где Сам Бог.

“Всё будет, да не скоро”, – скажет любой мужик из нашей местности. Но это простое “всё” – с бесконечным, как небо, смыслом. Это значит, что не будет “греха”, что золотой рычаг вселенной повернёт к солнцу правды, тепло не будет уничтожено бременем вечного труда, особенно “отдажного”, как говорят у нас, т. е. предлагаемого за плату, и душа, как в открытой книге, будет разбираться в тайнах жизни”.

Все эти “вождения”, которые оказываются “дурачеством”, Ключев испытал на собственной шкуре, сталкиваясь с ссыльными революционерами и пропагандистами с Марксом на устах и вожденной бомбой в кармане... А то, что формулирует он сам, – и есть живой образ “народного коммунизма”, “христианского социализма”, который так и не утвердился поныне на русской земле, что и влечёт все нестроения, разлады и катастрофы.

“Но что же это за “политика”, – спросите Вы, что подразумевает крестьянин под этим словом, что характеризует им? Постараюсь ответить словами большинства. Политика – это всё, что касается правды, – великой вселенской справедливости, такого порядка вещей, где и “порошина не падает зря”, где не только у парней будут “калоши и пинжаки”, “как у богатых”, но ещё что-то очень приятное, от чего гордо поднимается голова и смелее становится речь. Знаю, что люди Вашего круга нашу “политику” понимают как нечто крайне убогое, в чём совершенно отсутствуют истины социализма, о которых так много чиликают авторы красных книжек, предзнамененных “для народа”. Но истинно говорю Вам – такое представление о мужике больше чем ложно, оно неумно и бессмысленно!..

“Чтобы всё было наше” – вот крестьянская программа, вот, чего желают крестьяне. Что подразумевают они под словом “всё”, я объяснил, как сумел, выше могу присовокупить, что к нему относятся кой-какие и другие пожелания...” Эти “пожелания” Ключев излагает уже более “конкретно” и “сниженно”: “...чтобы не было податей и начальства, чтобы съестные продукты были наши... чтобы для желающих были училища и чтоб одежда у всех была барская, – т. е. хорошая, красивая...”

Что же касается “республики” и “монархии”, – то об этих субстанциях у земляков Ключева с волею представление: “Республика это такая страна, где царь выбирается на голоса, – вот всё, что знают по этому предмету некоторые крестьяне нашей округи. Большинство же держится за царя не как за власть, карающую и убивающую, а как за воплощение мудрости, способной разрешить запросы народного духа. “Ён должен по думе делать”, – говорят про царя. Это значит, что царь должен быть умом всей русской земли, быть высшей добродетелью и правдой”.

Ничего общего, по Ключеву и по мнению его земляков, Николай II “с высшей добродетелью и правдой” не имеет. Напротив – он “враг Бога и правды”, что и подтверждают апокрифы о Царе и пророческие видения, о которых ходят толки в народе. “...Говорят... что в каком-то городе, на белой горе казнили 12 братьев, и с тех пор икона Пресвятой Богородицы, находящаяся в ближней церкви, плачет дённо и ночью, – подавая болящим исцеление. Что в Псковской губернии видели огненного змия, а в Новгороде сжатая в кулак рука Спасителя, изображённого на городской стене, разжимается. Всё это предвещает великое убийство – перемеженье для Россеи, время, когда брат на брата копьё скуют и будет для всего народа большое поплнение”. Не зря же эпитафией к статье предпослал Николай цитату из драмы Леонида Андреева “Царь-Голод”: “Мы убили дьявола. Ответ крестьянина на леде перед сытыми”. Земляки, по тексту Ключева, убили дьявола в себе, рассчитались в своей душе со страхом перед дьяволом земным, правящем Русью, – и апо-

крифы — один хлеще другого — и рассказы о виденьях перемежаются “насушным”: “Песни крестьянской молодёжи наглядно показывают отношение деревни к полиции, отчаянную удаль, готовность пострадать даже “за книжку”, ненависть ко всякой власти предержавшей”. И эти “песни” разрезают клюевский “отчёт”, как глас народный:

*Мы без ножигов не ходим,  
Без камня никогда,  
Нас за ножики боятся  
Пуще царского суда.*

.....  
*У нас ножики литые,  
Гири кованые.  
Мы ребята холостые  
Практикованные.  
Мы научены сумой —  
Государевой тюрьмой.*

.....  
*Ах, ты книжка-складенец,  
В каторгу дорожка.  
Пострадает молодец  
За тебя немножко.  
Во тюрьму меня ведут  
Кудри развиваются —  
Рядом девушки идут,  
Плачут, уливаются.*

Фольклор сельских оторв, деревенской трын-травы Олонецкой губернии, наружный вид которой “пьяный по праздникам и голодный по будням”, где все живут “как под тучей” в ожидании, что “вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы Земли и восплочут те, кто распял Народ Божий” и “лишил миллионы братьев познания истинной жизни”, — сменяет духовный стих олонецких скрытников, который через несколько лет встанет эпиграфом к клюевскому “Скрытному стиху”:

*Что ты, душа, приуныла?  
Аль ты Господа забыла?  
Аль ты добра не творила?  
Оттого ты, душа, заскорбела,  
Что святая правда сгорела,  
Что любовь по свету бродит  
И нигде пристану не находит.*

.....  
*По крещёному белому царству  
Пролегла великая дорога,  
Протекла кровавая пучина —  
Есть проход лихому человеку,  
Что ль проезд ночному душегубу,  
Только нету вольного проходу  
Тихомудру Божью пешеходу.  
Как ему, Господню, путь засечен,  
Завалён — проклятым чёрным камнем.*

... Блок был потрясён этой статьёй. Сделав с неё копию, он делится своей радостью с ближайшими друзьями, которых становилось всё меньше и меньше. “Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева (олонецкий крестьянин, за которого меня ругал Розанов). По приезде прочту тебе. Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который ещё и ещё утверждает меня в моих заветных думах и надеждах” (из письма Евгению Иванову). “Очень много и хорошо думаю. Получил поразительную корреспонденцию из Олонецкой губернии от Клюева. Хочу прочесть Вам” (из письма Георгию Чулкову).

Неизвестно, сохранилась ли статья “С родного берега” у Миролубова. Во всяком случае, нет никаких известий о том, что он собирался предать клюевские свидетельства и размышления гласности. Блок же перечитывал её несколько последующих лет. Он хотел дать свой ответ в печати, но оставил лишь

записку: “Много промучившись над этим письмом, я, конечно, в январе 1914 г., решаюсь не отвечать. Хорошее письмо, а мне отвечать нечего, язык мой городской, а это – деревня”. Переступить через проведённую им самим непреодолимую черту он так и не смог.

Но об этой черте, привлекая ключевский текст, он тогда же, в 1908 году, скажет в Религиозно-философском обществе. 13 ноября он выступил с докладом “Народ и интеллигенция”, где, отталкиваясь от “Исповеди” Горького и посвящённом ей докладу Германа Баронова “О демотеизме”, сформулировал давно выношенное:

“С екатерининских времён проснулось в русском интеллигенте народолюбие, и с той поры не оскудевало. Собирали и собирают материалы для изучения “фольклора”; загромождают книжные шкафы сборниками русских песен, былин, легенд, заговоров, причитаний; исследуют русскую мифологию, обрядности, свадьбы и похороны; печалуются о народе, ходят в народ, исполняют надеждами и отчаиваются; наконец, погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело. Может быть, наконец *поняли даже душу народную*; но как поняли? Не значит ли понять *всё* и полюбить *всё* – даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, – не значит ли это *ничего* не понять и *ничего* не полюбить?”

Страшные вещи говорил Блок среди народолюбивых интеллигентов. Он говорил о “медленном пробуждении великана”, пробуждении “с какой-то усмешкой на устах”, усмешкой “мужика, ничем не похожей на ту иронию, которой научили нас Гейне и еврейство, на гоголевский смех сквозь слёзы, на соловьёвский хохот”. Он говорил о “двух реальностях” – о полтораста миллионов с одной стороны – и нескольких сотнях тысяч с другой – не понимающих друг друга “в самом основном”... И не просто “не понимающих”.

“Есть между двумя станами – между народом и интеллигенцией – некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие... Но тонка черта: по-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга, по-прежнему к тем, кто желает мира и сговора, большинство из народа и большинство из интеллигенции относятся как к изменникам и перебежчикам...”

Гоголь и многие русские писатели любили представлять себе Россию как воплощение тишины и сна; но этот сон кончается; тишина сменяется отдалённым и возрастающим гулом, непохожим на смешанный городской гул”. Далее он поминал гоголевскую птицу-тройку, придавая этому бессмертному образу нетривиальный и пугающий смысл.

...Когда в 1918 году Евгений Замятин, категорически не принявший ни “Двенадцать”, ни “Скифов”, с надрывной иронией вопрошал – “Не страшно ли Вам, господин Блок?” и рисовал в своём распалённом воображении страшную оскаленную морду коренника птицы-тройки, оглядывающуюся на управляющего тройкой поэта, – он словно забыл, что ровно десять лет назад сам же Блок завершал свой доклад о народе и интеллигенции той же нотой, тогда – нотой трагического предчувствия.

“Что если тройка, вокруг которой “гремит и становится ветром разорванный воздух”, – *летит прямо на нас?* Бросаясь к народу, мы бросаемся под ноги бешеной тройке, на верную гибель... Можно уже представить себе, как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма происходит от того, что над нами повисла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжёлые копыта”.

Доклад вызвал бурю, на Блока нападали со всех сторон. Текст “России и интеллигенции” отказался печатать Пётр Струве, редактор “Русской мысли” и будущий автор “Вех”. Сергей Городецкий, близкий знакомый, автор высоко оцененной Блоком “Яри”, писавший ему ранее в одном из писем: “Ведь посмотрите, на какой путь Вы становитесь! Вам предстоит или стать Буддой, Магометом, Иисусом, т. е. создать новую моральную систему (Вы это очень точно выражаете формулой: чтоб 1) Россия 2) услышала 3) меня” – теперь, после объяснения, писал уже в ином тоне: “*Неправда (NB)*, что я считаю тебя больше нашей темы – России. Только я родился в ней, а ты к ней пришёл. И корень вражды не здесь... Ты мне тягостен словами о пропасти между поэтом и народом. Я её не ощущаю. Её нет. И хочу, чтобы ты ощущал также”.

То, что ощущал Блок, он с ещё большей резкостью высказал 30 декабря 1908 года в том же Религиозно-философском обществе, в докладе “Стихия и культура”.

“История, та самая история, которая, говорят, сводится попросту к политической экономии, взяла да и положила нам на стол настоящую бомбу... Можно было бы быть заранее уверенным, что, как только заговоришь о разрыве между народом и интеллигенцией, найдутся люди, отрицающие даже возможность разрыва или просто переводящие разговор на домашние дела... Если скажешь, что наука бессильна перед провалом южной Италии, сейчас же поднимется геолог и заявит, что в Калабрии не отвердела земная кора и что наука, если ещё и не совсем победила природу, то через три тысячи лет победит”.

Землетрясение, поглотившее Калабрию и Мессину, обнажившее бессилие цивилизации перед природной стихией, — знак более страшных грядущих потрясений. Подземные толчки угадываются там, где на поверхности, кажется, царит тишь, да гладь, да Божья благодать... Слушающие его словно забыли о 1905 годе или считают, что их “прикосновения” к народу, “экскурсии” к Светлояру, “посиделки” с петербургскими христами — гарантируют им чувство полного “слияния”.

У Блока не возникает ни малейших иллюзий при взгляде на своих “соратников”.

“Сердце сторонника прогресса дышит чёрною мезью на землю, на стихию, всё ещё не покрытую достаточно чёрствой корой; мезью за все её трудные времена и бесконечные пространства, за ржавую тягостную цепь причин и следствий, за несправедливую жизнь, за несправедливую смерть. Люди культуры, сторонники прогресса, отборные интеллигенты — с пеной у рта строят машины, двигают вперёд науку, в тайной злобе, стараясь забыть и не слушать гул стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь. И только иногда, просыпаясь, озираясь кругом себя, они видят ту же землю, — проклятую, до времени спокойную, — и смотрят на неё, как на какое-то театральное представление, как на нелепую, но увлекательную сказку.

Есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из неё, — “стихийные люди”. Они спокойны, как она, до времени, и деятельность их, до времени, подобна лёгким, предрепреждающим подземным толчкам... Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу её, о монастырях, где стоит Статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что, когда ветер ночью клонит рожь, — это “Она мчится по ржи”, о том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда, — обломки иностранных кораблей, потому что пруд этот — “отдушина океана”. Земля с ними, и они с землёй, их не различить на её лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик — живой. Только всё на этой равнине ещё спит, а когда двинется — всё, как есть, пойдёт: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощённые Богородицы, пойдут с холмов, и озёра выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдёт вся земля”.

Тут и пришёл черёд клюевского письма. Блок цитировал его в больших выдержках наряду с приводимыми цитатами из письма некоего сектанта к Д. Мережковскому и, сопоставляя сладкозвучные строки сектантского гимна с песней, приведённой Клюевым, приходил к убийственному выводу: “В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поёт про “литые ножики”, и те, кто поёт про “святую любовь”, — не продадут друг друга, потому что — стихия с ними, они — дети одной грозы; потому что — земля одна, “земля Божья”, “земля — достояние всего народа”.

Там, где в свои права вступает жажда вселенской справедливости, жажда Тысячелетнего Царствия на земле, — там не удовлетворишь её ни “экономикой”, ни мнимым “единением”, ни подачками с государственного или интеллигентского стола... “Мы ещё не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на лёгком кружевном аэроплане, высоко над землёю; а под нами — громахающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскалённой лавы”.

Тональность статей Блока меняется, в них отчётливо становятся слышны эсхатологические интонации, предчувствие грядущего апокалипсиса нагнетает тревогу, всё усиливается трагедийность тона. И эта перемена непосредственно связана с ещё одним клюевским письмом, которое Блок получил в конце октября 1908 года, ещё до своих выступлений.

12 сентября, в разгар работы над “Песней судьбы”, он записывает в записную книжку: “Записывать просто разговоры. Клюев. Новая Драма (тишина, зеркала вод в лесу, мужичья поступь). Мечты о журнале с традициями добролюбовского “Современника”. Две интеллигенции. Дрянность “западнических” компаний (“Весы”, мистический анархизм и т. п.). Единственный манифест и строжайшая программа. Чтоб не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Распроститься с “Весами”. Бойкот новой западной литературы. Революционный завет – презрение”.

Связавшись с “Золотым Руном”, он предлагает туда же присылаемые стихи Клюева, два из которых печатаются там в октябре. Он присылает Клюеву свою новую книгу “Земля в снегу” – и получил на неё клюевский отзыв.

Поначалу Клюев благодарит за книгу и рассыпается в зачинных оговорках: “...Я очень стесняюсь говорить про неё. Вы ведь сами человек образованный, имеете людей, понимающих искусство и творящих прекрасное, но что по-ихнему неоспоримо хорошо, то, по-моему, быть может безобразно, и наоборот. Взгляды на красоту больно заплёвывать, обидно и горько, может, и Вам выслушивать несогласное с этими взглядами. Если я читал Вашу “Нечаянную Радость” и, поняв её по-своему, писал Вам про неё кой-что хорошее, то из этого ещё не значит, что верно определю и “Землю в снегу”.

Но дальше...

“До “Нечаянной Радости” я не читал лучшего, а потому прельстился ею, как полустёртой плитой, покрытой пёстрыми письменами, затейливо фигурными знаками далёкой, незнаемой руки, в которых нужно разбираться с тихостью сердца и негордостью духа. Я не умею читать книгу с пеной у рта, и если вижу в написанном много личной гордости самонадеянности, то всегда смотрю на это, как путник на развалины Ниневии: “Вот, мол, было царство, величие и слава, а стал песок попираемый!...” Снова идут сердечные слова о “Нечаянной Радости”, о том, что читал Клюев в страницах её, прозревая за написанным... “Отдалённая, уплывающая в пьяный сумрак городских улиц музыка продрогшего, бездомного авторского оркестра, скрашенная двумя-тремя аккордами Псалтыри. Уличная шарманка с сиротливой птичкой, вынимающей за пятак розовый билетик счастья, с хозяином-полуужичиной, с невозможной похотью в глазах, с жадной встречи с вольной девой в огненном плаще, который играет и поёт только для того, чтобы слушали...” Блок, покорённый словами о “Нечаянной Радости” ещё в первом клюевском письме, читая новое послание, впитывает каждое слово, и словно путник, направляющий свой корабль на сладкое пение сирен, уже не может оторваться от листа испанского разборчивым письмом, отдалённо напоминающим полуулавливаемое... А Клюев всё заманивает, ласкает, неназойливо делится наболевшим, понятным лишь ему и Блоку: “Я недоумеваю, за что бранили меня публицисты, когда я высказал Вам впечатление, оставшееся от чтения этой книги, по бумажной ли привычке лаяться, по подозрению ли Вас в рекламе (хотя я не знаю, что было рекламного в моих словах) или по брезгливому предостережению о нашей серости, по барскому отношению к простому человеку... Бог с ними и с публицистами, не для них я пишу Вам, но обидно, что люди, считающие себя лучшими в царствии, светом родной земли, духовно не выше публики, выведенной в “Царе-Голоде” в картине “Суд над голодными”, родственны с нею во взглядах на крестьянина: “оно говорит...”, “оно не понимает...”, “в таких случаях нужен, казалось...” (снова идёт отсылка к Леониду Андрееву – по всему видно, насколько сильно задела Клюева эта драма. – **С. К.**). Мне чувствуется, что отношения людей литературы умышленно нелепы и лживы. Литературные судьи, как и уголовные, избравшие своей эмблемой виселицу, служат смерти, осуждают во имя дьявола, а не во имя Духа истины, а потому и дела рук их ни на волос не устраняют лжи жизни – безобразия отношений человеческих, а прекрасному даже вредят, потому что оно всегда робкое, по капле нарождающееся”.

Клюев только-только входит в литературу, а нелепость и лживость отношений в тамошнем мире чувствует сразу – по реакции на блоковский доклад, на цитаты из Клюева, который уже заподозрен в небескорыстии. “Скажу я, что Ваши стихи красивы, – “господа” публицисты догадываются: “Верно, Блок дал на сороковку”. А ведь посмотришь то же “Золотое Руно” – и увидишь, как наряду с блоковскими статьями и клюевскими стихами там поминают “последнюю вспышку польской независимости”, естественно, “жестоко погашен-

ную”, при описании польской старины в Румянцевском музее; прочитаешь первую песнь поэмы “Херувим” Станислава Пшибышевского под названием “Стезёю Каина”, где сам Каин восклицает: “Ты изгнал нас из рая, а я создал рай новый, ещё более мощный, объёмлющий небо и землю!”; “насладишься” рассуждениями Константина Бальмонта о “чувстве расы в творчестве” и о “нашем литературном сегодня”: там Вячеслав Иванов — “словесник-дистиллятор... так-таки чувствуешь аптеку, и очень доброкачественные трубочки и пузырьки, наполненные смесями разных эссенций”, но где “до луга и леса довольно далеко”, а Блок “неясен, как падающий снег, и как падающий снег творит мечту. Приведёт ли куда, не знаю, хорошо, что порою уводит её...” Всё — от ума, а не от сердца, не от души. Всё — игра, а не жизнь. Даже остро подмеченное неким Борисом Кремнёвым сходство Блока “Снежной маски” и героя “Снежной королевы” Андерсена — всё словно напоминает складывание из льдинок красивого узора... Нет, он, Клюев, чувствует Блока иначе.

В первом письме он раскавычивал цитаты из полюбившихся ему стихов “Осенняя воля”, “Взморье”, “В кабаках, в переулках, в извивах...”, “Прискакала дикой степью...” — и строки блоковских стихов подавал от себя, как достояние своего духовного мира. Теперь он так же поступает со стихами “Земли в снегу”, в которой видит “молитвенное пенье предвесенних ласковых капель, борьбу тела с духом...” И тут же отдельно перечисляет те стихи, что ему “милы и родны”: среди них “Русь” (без строчки “И ведьмы тешатся с чертями”), “Мы встретились с тобою в храме...”, “Осенняя любовь”, “Я насадил мой светлый рай...”, “Колдунья”, “Инок”... Особо выделяет “Осеннюю любовь”, где слово “палач” не по-книжному читается Клюевым и где много говорит ему молитва распинаемого поэта к живому Христу, плывущему в челне:

*Христос! Родной простор печален!  
Изнемогаю на кресте!  
И челн твой — будет ли причален  
К моей распятой высоте?*

“Земля в снегу” — символ голубиной чистоты и Духа высоты, но старый грех, каранирная мусорность жизни, уродливой изначала, изъязвили целомудренный белый покров бурями, как сукровица, проталинами “культурной” страсти, за которой, несмотря на пышный художественный альков, настойчиво маячит мёртвый, провалившийся рот. Смертная ложь нашего интеллигента это, как мне кажется, не присущее ему по Духу вавилонское отношение к женщине. Многие стихи из Вашей книги похабны по существу, хотя наружно и прекрасны — сладкий яд в золотой тонкой чеканки чаше, но кто вкусит от неё? Питьё усохнет, золотой потир треснет, выветрится и станет прахом. Смело кричу Вам: не наполняйте чашу Духа своего трупным ядом самоуслаждения собственным я — я!”

И Блок, для которого жизненно важен диалог с Клюевым в этот период, Блок, знающий цену любому печатному или устному уничижающему слову, принимает, как должное, и этот упрёк Клюева и следующий, ещё более болезненный: “Отдел “Вольные мысли” — мысли барина-дачника, гуляющего, пьющего, стреляющего за девчонками “для разнообразия” и вообще “отдыхающего” на лоне природы. Никому это не нужно, кроме Чулкова, коему посвящены эти “Мысли”.

Блок ценит “Вольные мысли” едва ли не больше всего из написанного им за последний год. И тем не менее принимает клюевский упрёк, не упрёк даже, а, скорее, наставничество, и делится в письмах к матери: “Всего важнее для меня — то, что Клюев написал мне длинное письмо о “Земле в снегу”, где упрекает меня в интеллигентской порнографии (не за всю книгу, конечно, но, например, за “Вольные мысли”). И я поверил ему в том, что даже я, ненавистник порнографии, подпал под её влияние, будучи интеллигентом. Может быть, это и хорошо даже, но ещё лучше, что указывает мне на это именно Клюев. Другому бы я не поверил так, как ему. Письмо его вообще опять настолько важно, что я, кажется, опять опубликую его”.

На это он получил уже разрешение от самого Клюева: “Если пожелаете, то опубликуйте это письмо, а потом пришлите мне газету”. Судя по всему, не сохранившееся ответное письмо Александры Андреевны — матери Блока —

было исполнено недоумения, и Блок счёл необходимым конкретизировать и уточнить своё впечатление от клюевской оценки: “Клюев мне совсем не только про последнюю “Вольную мысль” пишет, а про все (я прочту тебе его письмо, когда приеду я или ты) и ещё про многое. И не то что о “порнографии” именно, а о более сложном чём-то, что я, в конце концов, в себе ещё люблю. Не то что я считаю это ценным, а просто это какая-то часть меня самого. Веря ему, я верю и себе. Следовательно (говоря очень обобщённо и не только на основании Клюева, но и многих других моих мыслей): между “интеллигенцией” и “народом” есть “недоступная черта”. Для нас, вероятно, самое ценное в них враждебно, то же — для них. Это — та же пропасть, что между культурой и природой, что ли. Чем ближе человек к народу (Менделеев, Горький, Толстой), тем яростней он ненавидит интеллигенцию”.

Клюев желал, чтобы Блок переступил эту “недоступную черту”, отрекшись от “трупного яда самоуслаждения”, “вавилонского отношения к женщине”, всего того, что Блок назвал “порнографией”. Клюев разделял в Блоке великого поэта и “декадента” со всеми присущими ему свойствами. И Блок понял клюевское стремление видеть его “в своём стане”, и с этим чувством читал и перечитывал заключительные строки клюевского послания:

“Верю, что будет весна, найдёт душа свет солнца правды, обретёт великое “Настоящее”, а пока надтреснутый колокол звенит и поёт вместе с вьюгой, лесными тропами и оврагами, на огни родных изб несётся звон его — вспыхивает, как ивановский червячок в сумерках человеческих душ, отчего длиннее и кручиннее становится заповочка, крепче думушка сухотная неотпадная, голее горюшко голое, ярче и больнее ненависть зеленоглазая, изначальная ярость Земли-матери, придавленной снегами до часа и дня урочного”.

Если бы не это клюевское письмо — не было бы и доклада “Россия и интеллигенция” в том виде, в каком он был написан и прочитан, не было бы и тех мыслей, которые Блок высказал в письме К. С. Станиславскому, написанному уже после доклада, в письме, где речь шла о возможной постановке “Песни Судьбы” на сцене Художественного театра.

“...Тема моя, я знаю теперь это твёрдо, без всяких сомнений — живая, реальная тема; она не только больше меня, она больше всех нас; и она — всеобщая наша тема. Все мы, живые, так или иначе к ней же придём. Мы не пойдём — она сама пойдёт на нас, уже пошла. Откроем сердце, — исполнит его восторгом, новыми надеждами, новыми силами, опять научит свергнуть проклятое “татарское” иго сомнений, самоубийственной тоски, “декадентской иронии” и пр., и пр., всё то иго, которое мы, “нынешние”, в полной мере несём.

Не откроем сердца — погибнем (знаю это, как дважды два четыре). Полторастамиллионная сила пойдёт на нас, сколько бы штыков мы ни выставили, какой бы “Великой России” (по Струве) ни воздвигали. Свято нас растопчет; будь наша культура — семи пядей во лбу, не останется камня на камне.

В таком виде стоит передо мной моя тема, тема о России (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Всё ярче сознаю, что это — первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный... Хочу, чтобы Вы услышали меня, чтобы Вы знали, что нет в моём “народничанье”, что ли, — тени публицистического разгильдяйства, что я ни в каком случае не хочу забывать “форму” для “содержания”, пренебрегать математической точностью, строжайшей шлифовкой драгоценного камня. Но камень-то, который я, может быть, не сумел отшлифовать в “Песне Судьбы”, — он драгоценен.”

Станиславский не услышал. Остальные были ещё более глухи. И Блок об этом вспомнит. Вспомнит о “неоткрывших сердцах”. Уже после Октябрьской революции.

А тогда, обаянный Кусковой, Струве и остальными, Блок получил-таки свидетельство нужности своего выступления. В том же Религиозно-философском обществе к нему подошли сектанты с явным намерением встретиться в будущем и продолжить разговор.

\* \* \*

Клюев продолжает переписываться с Блоком, сообщает ему о просьбе “Русской мысли” прислать статью, которую Николай собирается написать, но



так и не напишет. Просьба, похоже, исходила от Мережковского, и Клюев сообщает Блоку, что “Мережковскому писал, писал и сорвал, потому всего мало в голове, хоть на сердце и есть многое – про поэзию настоящего времени”. Сообщает о новом тексте, посланном Миролубову, – “Слово Божие к народу”, видимо, в том же духе, что и “С родного берега” – сочинение это не разыскано по сей день. Жалуется, что “от В<иктора> С<ергеевича> нет ничего. И от Вас про него ничего не получал. Видно, у них там что-нибудь не ладно, пахнет чем-то зловещим, не антихрист ли родился на “Слово Божие” – он ничего ведь не отвечал??? Как Вам это “Слово” показалось? Да и здоровье у него папиросное, мучаются, мучаются много зря, а единое нужно на потребу – мир и благоволение, а остальное всё приложится”. Беспокоится о том, что нанёс Блоку незаслуженную рану и кается в своих резких словах о “Земле в снегу”: “Быть может, я холодно отнёсся к тому, что требует теплоты, благоговения, проникновенного внимания. Простите меня, не омрачайте своих образов моей грубостью, ибо Вы истинны в “своей” правде, без которой Вы не художник, и только теперь я так больно почувствовал это”.

Клюев жалуется, что “ничего из новых писателей не читал, окромя “Трудового пути”, Ваших книг да “Царя-Голода”; получает от него альманах “Белые ночи” и сборник “Лирические драмы” с дарственной надписью: “Николаю Клюеву с приветствием от души. Александр Блок”. Просит прислать книги Бальмонта и Брюсова, делится радостью от прочтения стихов Вячеслава Иванова и его переводов из Бодлера... Уже в стихотворении “Мы любим только то, чему названья нет...” (строчки “В старинных зеркалах живёт красавиц рой, но смерти виден лик в их омотах зовущих”), как в зеркальном стекле отразился Бодлер в переводе Иванова: “О Винчи – зеркало, в чьём омуте бездонном...” (ранее Клюев уже был знаком с Бодлером в переводах П. Якубовича). Читает, впитывает, учится, постигает достижения новейших течений в поэзии – и пишет сам, и присылает Блоку стихи, почитай, чуть не в каждом письме.

*Осенью могильною иконкой,  
Накормлю малиновок кутьёй  
И опять с клюкою и котомкой  
Побреду тележной колёй.  
Убелись, душа моя, белее.  
Позабудь печаль и суету,  
Возвращусь я прежнего святее  
Целовать заветную плиту.  
На распутьях дальнего скитанья,  
Как пчела медвяную росу,  
Соберу певучие сказанья  
И тебе, родимый, принесу.  
В глубине народной забытым  
Ты живёшь, кровавый и святой...  
Опалённым, сгибнувшим, убитым —  
Всем покой за дверью гробовой.*

“... брату” – посвящение к этому стихотворению – не к “убиенному” ли “брату”? Мотив “братства” и “сестринства”, проходящий через всю раннюю лирику Клюева, неотделим от мотива кровавой искупительной жертвы и “узилица”, предназначенного как самому поэту, так и “брату” или “сестре”... Клюев щедро пользуется полубившейся ему блоковской мелодичностью, и, кажется, образ “корабля” также взят “напрокат” у Блока, но нельзя не помнить о “христовом корабле”, на котором пускаются в плавание по житейскому морю истинно верные... “Я тосковал о райских кринах, о берегах иной земли, где в светло дремлющих заливах блуждают сонно корабли. Плывут преставленные души в незатемнённый далью путь, к Материку желанной суши от бурных странствий отдохнуть...” Только тяжкое предчувствие не даёт покоя – что не “райские крины” ожидают усталого путника за жизненным пределом: “Но иногда мы чуем оба ошибки чувства и ума: о, неужель за дверью гроба нас ждут неволя и тюрьма?” В стихотворении, посвящённом Елене Добролюбовой, героиню посещает видение, в котором павшие и казнённые, освобождённые на миг поусторонней волей, приходят к ней и к её матери, постигшей нездешнее:

*Зимы предчувствием объаты,  
Рыдают сосны на бору;  
Опять глухие казематы  
Тебе приснятся ввечеру.*

*Лишь станут сумерки синее,  
Туман окутает реку, —  
Отец, с верёвкой на шее,  
Придёт и сядет к камельку.*

*Жених с простреленною грудью,  
Сестра, погибшая в бою, —  
Все по вечернему безлюдью  
Сойдутся в хижину твою.*

Но смысл видения останется героиней неразгаданным.

*А Смерть останется за дверью,  
Как ночь, загадочно темна.  
И до рассвета суеверью  
Ты будешь слепо предана.*

*И не поверишь яви зрячей,  
Когда неузнанно в ночи  
Придут, довольные удачей,  
И за тобою палачи.*

Но этот смертный исход своей безнадежностью не мог утешить поэта. Исход “постижения нездешнего” должен быть иным, и последняя строфа стала иной:

*И не поверишь яви зрячей,  
Когда торжественно в ночи  
Тебе — за боль, за подвиг плача —  
Вручатся вечности ключи.*

И сам поэт, чающий обрести “вечности ключи”, поминает “обедню строгую” и “позолоту царских врат”, и “тяжкий гул колоколов” — храм, под сводами которого, он, “опьянённый перезвонами”, даёт обет “стать блаженным и святым”. Но...

*Но в ответ мольбе медлительной  
Помню: с выси голубой  
Голос ясно повелительный  
Мне ответил: Ты не мой.*

Отвергнутый отправляется в скитания, в которых избывает своё грехопадение, и по истечении срока “посланец горних сил” встречает его уже не под церковными сводами. Прошла “детская вера” в откровение, и познано оно было на тернистых путях житейских, выстрадано, вымучено, вымолено в миру.

*И услышал уходящие  
В вечность тёмную года,  
Разгадал слова горящие  
В книге жизни и суда.  
Знаки замысла предвечною  
Зодиака и креста,  
И на диске солнца млечного  
Лик прощающий Христа.*

Это — земное воплощение поэта, разгадавшего книгу жизни. Дух воспарит и выше, когда он ощутит себя воедино и Иоанном Патмосским, и проро-

ком Исайей — и не на земле, а в Господних пределах: “Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен”.

Сразу вспоминается пушкинский “Пророк”, текстуально более близкий “Книге пророка Исайи”, чем клюевское стихотворение, ибо клюевский пророк уже не отягощён беззаконием, он — “просветлённо-бестелесный и младенчески простой”, и над его устами не производит никакого обжигающего действия... Скорее, происходящее у Клюева ближе к “Откровению Иоанна Богослова”, где “Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего... Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает...” Книжные источники очевидны, но то, что происходит у Клюева, говорит, скорее, о его собственном видении, которое он воплощает с подлинным религиозным напряжением и сосредоточенностью передачи слов, слышимых от неземного гласа.

*Источая кровь и пламень,  
Шестикрыл и многолик,  
С начертаньем белый камень  
Мне вручил Архистратиг.*

*И сказал: “Венчайся белым  
Твердокаменным венцом,  
Будь убог и тёмн телом,  
Светел духом и лицом.*

*И другому талисману  
Не вверяйся никогда, —  
Я пасти не перестану  
С высоты свои стада.*

*На крылах кроваво-дымных  
Облечу подлунный храм  
И из пепла тел невинных  
Жизнь лазурную создам”.*

*Верен ангела глаголу,  
Вдохновившему меня,  
Я сошёл к земному долу,  
Полон звуков и огня.*

Недолго длился период вчитывания, обучения, попыток заставить сокровенное, выношенное зазвучать в полнозвучном стихе, льющемся раскатисто и естественно, почти без сбивов и провалов. Твёрд и основателен стихотворный сюжет, цитаты из святого писания настолько органично вплетены в стих, что перестали быть цитатами — библейские слова стали принадлежностью клюевской поэтической речи... И не зря позднее Николай Гумилёв, оценивая первую книгу Клюева “Сосен перезвон”, скажет: “Пафос поэзии Клюева редкий, исключительный — это пафос нашедшего”.

От классического стиха Клюев столь же естественно переходит к былинному, вспоминая олончан-краснопевов и их красочные празднества с гульбищем на пиру.

*В красовитый летний праздничек,  
На раскат-широкой улице,  
Будет гульное гуляньице —  
Пир — мирское столованьице.  
Как у девушек-согревушек  
Будут поднизи плетёные,*

*Сарафаны золочёные,  
У дородных добрых молодцев,  
Мигачей и заливчатчиков,  
Перелётных зорких кречетов,  
Будут шапки с кистью до уха,  
Опояски соловецкие,  
Из семи шелков плетёные.  
Только я, млада, на гульбище  
Выйду в гуне — старой рябуше  
Нищим лыком опоясана...*

Сдвигаются “белолицые согревушки” и “парни ражие, удалые” — “уж не горе ли холодное, лихо злое подколодное?” А пришедшая на праздник нищенка-пророчица выбивает голосом, как молотом, “звоны колокольные”... Поведала, что перед Спасовой заутреней вела беседу с озером, которое поведало ей “тайну тихую поддонную про святую Русь крещёную”. И тайна оказалась настолько страшной, что “понабережье насупилось”, “рыба в заводах повыхнула”... Сама природа в ужасе замерла.

*Я поведаю на гульбище  
Праздничанам-залихватчикам,  
Что мне виделось в озёррышке,  
Во глуби на самом доньышке,  
Из конца в конец я видела  
Царство белое кручинное,  
Всё столбами огорожено —  
Меж столбов брусы дубовые —  
Поперечины положены,  
Петли новые, пеньковые  
Хомутами заморожены.*

И ежели “смиранный бахарь” возмолит Солнышко, “чтоб ни тварь в лесу голодная, ни гадюка подколодная, не кусали и не жалили, А Свят Духа Бога славили”, — то “казнят его без милости палачи немилосердные”. И самое страшное — осинушка

*Ронит листья — слёзы жёлтые  
На могилу безымянную.*

(Как не вспомнить здесь лермонтовскую “Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”, где казнил лихого купца Грозный — да могила за Москвой-рекой осталась, возле которой и девица пригорюнится, и молодец перекрестится, и гусяры песню споят...)

Позже и это стихотворение примет новый вид. Вместо “царства белого кручинного”, огороженного столбами, в нём явится “поле грозное убойное”, где “головами мосты мощены, из телес реки пропущены” — поле 1-й мировой войны, а в названии будет вынесен “Обидин плач”, сразу воскрешающий в памяти “Деву-Обиду” “Слова о полку Игореве”.

Это стихотворение и ещё один былинный стих “Песня о Соколе и о трёх птицах Божиих” Блок отправил в журнал “Бодрое слово”, где они и были опубликованы в середине 1909 года.

...Пройдёт время, и начитавшись о себе всякого разного, вплоть до того, что он весь вышел из символизма, что без подражания Блоку он не состоялся бы как поэт, Николай в беседе с Архиповым высказался со всей возможной для него резкостью, чуть-чуть, может быть, перегибая палку, но с абсолютным убеждением в истинности каждого слова:

“Я не нашёл более притных способов выражения Блоку своей приязни, как, написав стихи в его блоковской излюбленной форме и чувстве. Стихи эти написаны мною совершенно сознательно по-блоковски, а вовсе не оттого, что я был весь пронизан его стихотворной правдой. В этой же книге “Сосен перезвон” наряду со стихами, посвящёнными Блоку и написанными по-блоковски, имеются песни “О соколе и трёх птицах Божиих”, “В красовитый летний праздник”, которые только глупец или бесчестный человек обойдёт молчанием,

как порождение иного мира, земли и её совести, которые суть подлинная моя стихия”.

И если разные Городецкие с длинным языком, но коротким разумом, уверяют публику, что я родился из Блока, то сие явление вытекает от скудного и убогого сердца, которого не посещала любовь, красота и Россия как песня”.

Конечно, он “родился” не из Блока. Но невозможно отрицать, что короткое время он был “пронизан его стихотворной правдой”.

А о Городецком – речь впереди. . .

\* \* \*

Переписка продолжалась, и в письмах Блока Клюев чувствовал лёгкий холодок отчуждения, отзывавшийся настоящим холодом в его собственной душе. Он, пытающийся словом своим сломать все искусственные перегородки, чем дальше, тем больше чувствует, что они не становятся хрупче, а укрепляются – и не по его вине. Не может он взять этого в толк и пытается растопить этот ледок отчуждения своей воистину братской нежностью, обращая блоковские строки к самому Блоку, как идущие уже от самого Клюева.

“Письмо Ваше я получил, и оно мне дорого – потому справедливо. В одном фальшь, что Вы говорите, что я имею что-то против Вас за тяготение Ваше к культуре. Я не знаю точного значения этого слова, но чувствую, что им называется всё усовершенствованное, всё покоряющее стихию человеку. Я не против всего этого усовершенствования от электричества до переноски-машинки, но являюсь врагом усовершенствованных пулемётов и американских ошейников и т. п.: всего, что отнимает от человека всё человеческое. Я понимаю Ваше выражение “Не разлучны с хаосом”, верю в думы Ваши, чувствую, что такое “Суэта” в Ваших устах. Пьянящие краски жизни манят и меня, а если я и писал Вам, что пойду по монастырям, то это не значит, что я бегу от жизни. По монастырям мы ходим потому, что это самые удобные места: народ “с многих губерний” живёт празднично несколько дней, времени довольно, чтобы прочитать, к примеру, хоть “Слово Божие к народу”, и ещё кой-что “нужное”. Вот я и хожу и желаю им не отказываю, и ходить стоит, потому удобно и сильно, и свято неотразимо. Без этого же никак невозможно.

Я не считаю себя православным, да и никем не считаю, ненавижу казённого бога, пещь Ваалову Церковь, идолопоклонство слепых, людоедство верующих – разве я не понимаю этого, нечаянный брат мой! . . . И не желать Вам мира, а я подразумеваю под ним высшую, самую светлую радость, – я не могу – сердце не позволяет. Такой уж я человек зародён, что от дум и восторгов и чаяния радости жизнь для меня разделена на два – в одном красота, “жемчужные сны наяву”, в другом нечто “Настоящее”, про что говорить я не умею, но что одно со мной нерушимо, но что не казённый бог или “православие” . . .

Вам кажется странным, что Вы не знаете меня в лицо, а мне ничуть, я часто вижу Вас в своём внутреннем храме ровно таким, каким Вы чувствуете в письмах. Мне слышно, что Вам тошно от наружного зла в жизни – это тоже знак благополучия, и радуюсь этому я высоко. . . Настоящее в человеке делается из ничего, это-то ничто и есть Всё. Желаю Вам большого Духовного страдания, “чтобы услышать с белой пристани Отдалённые рога”, и на этот путь “если встанешь – не сойдёшь, и душою безнадежной Безотзывное поймёшь”. Не мне бы говорить Вам об этом, но так хочется сказать Вам что-либо, от чего не страшна бы стала “пучина тёмных встреч”.

Он жаждет продолжения диалога, а Блок пишет всё реже и реже. “Пятый месяц пошёл, как не получал я от Вас весточки. . .” “Я очень обрадован Вашим письмом, благодарен за теплоту Вашу. . .”, “Четвёртый месяц от Вас не слышать ничего, верно, Вы меня совсем забыли, но страшно не хочется верить в это. . .” Он ждёт писем и уповаает на духовное возрастание Блока, на ещё большее понимание им его, клюевской, правды жизни и искусства, а в ответ получает послание, наполнившее его душу горечью, которое, может быть, лишь намёком скажется в собственных строках:

“Если бы Вы не упоминали почти в каждом письме про своё барство, то оно не чувствовалось бы мною вовсе. Бедный человек, в частности, крестьянин, любовен и нежен к человеку-барину, если он заодно с думой-тишиной,

т. е. с самой жизнью, которую Вы неверно зовёте елейностью. Эта тишина-жизнь во всех людях одна, у бедных и неучёных она сказывается в доброте и ласке, у иных в думах, больше религиозных, у иных в песнях протяжных, потому что так ощутительней она. Так поют сапожники за работой, печники, жнецы, ямщики и т. д. У ненуждающихся и учёных, когда наука просто надоест, а это в большинстве так и бывает, живущая в человеке Тишина проявляется (как это ни странно) тоже в думах. Но думы всегда певучи, красочны – отсюда музыка и живопись, и живопись и музыка вместе – это книги – проза и поэзия”...

*Наша радость, счастье наше  
Не крикливы, не шумны,  
Но блаженнее и краше,  
Чем младенческие сны.*

*В серых избах, в казематах,  
В нестерпимый крестный час,  
Смертным ужасом объятых  
Не отыщется меж нас.*

*Мы блаженны, неизменны,  
Веря любим и молчим,  
Тайну Бога и вселенной  
В глубине своей храним.*

Таковы “жнецы вселенской нивы”, живущие “тишиной-жизнью”, несущие в себе Божественный свет, ибо “поле есть мир... жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы” – по Евангелию от Матфея.

Он пытается передать Блоку самое сокровенное, а в ответ читает то, что потом пойдёт за ним чёрной тенью и при жизни и после смерти – и про “елейность”, и про попытки “указывать пути”, и про “отторжение от культуры”... И чрезмерное подчёркивание Блоком – “я – такой, а Вы – другой”... И за всем этим – недоверие и попытки отстраниться, словно с произносимым про себя “чур меня, чур!” Клюев не верит этому недоверию, не хочет пока ещё верить.

“В Питере мне говорили, что Ваши стихи утончённы, писаны для брюханов, для лежачих дам, быть может, это и так в общем, но многое и многое, в особенности же “Тишина”, их какие-то жаворонковые трепеты, переживанья мгновенные – общелюдски, присущи каждому сердцу... И Ваше жестокое “Я барин – вы крестьянин” становится пустотой – “новой ложью”, и уж не нужно больше каяться” (что Вы каялись раньше, мне почему-то не узнавалось). И верится, что “во тьме лжи лучится правда” (слова из вашего письма). Быть может, Вам оттого тяжело – что время летит, летит... или что я хорошо думаю о Вас, но не вскрывайте себе внутренностей, не кайтесь мне, не вспугивайте то малое, нежное, что сложилось обо мне в Вас. *Говорить про это много нельзя, иначе истратишь слова, не сказав ничего.* Понимаю, что наружная жизнь Ваша несправедлива, но не презираю, а скорее жалею Вас. Никогда не было в моих помыслах указывать Вам пути, и очень прошу Вас не считать меня способным на какое-либо указание... Желаю Вам от всего сердца Света, Правды и Красоты новой, здоровья и мужества переносить наружные потери жизни. Крепко желаю не забыть Вас. Не отталкивайте же и Вы меня своей, быть может, фальшивой тьмою. Сам себя не считаю светлым, и Вы не считайте меня ни за кого другого, как за такого же. Всякое другое мнение Ваше для меня тяжко...”

Клюев сам на распутье. И религиозные сомнения разъедают его – “не считаю себя православным, да и никем не считаю” – не может со всей откровенностью сказать Блоку о своих колебаниях, “иначе истратишь слова, не сказав ничего”... Посылает Блоку стихи, спрашивает о том, что напечатано из них в том или ином журнале, а сам всерьёз думает бросить стихописание: “Пропадут мои песни, а может, и я пропаду”... Это не жалоба, это сомнение всерьёз – его ли это путь? “Буду молчать. Не знаю, верно ли, но думаю, что игра словами вредна, хоть и много копошится красивых слов, – поэмы сказывать, но лучше молчать. Бог с ними, со словами-стихами” (Из письма Блоку от сентября 1909 года). Позже, в 20-е годы, напишет в автобиографии: “По-

читаю стихи мои только за сор мысленный. Не в них суть моя”. А в “Гагарьей судьбине” ещё отчётливее: “Всё, что я писал и напишу, я считаю только лишь мысленным сором и ни во что почитаю мои писательские заслуги. И удивляюсь, и недоумеваю, почему по виду умные люди находят в моих стихах какое-то значение и ценность. Тысячи стихов, моих ли или тех поэтов, которых я знаю в России, не стоят одного распевца моей матери”.

Но — путь уже выбран. Не им, а свыше. И встречается на этом пути человек, который возносит Клюева до небес. И как поэта, и как пророка.

Иона Пантелеймонович Брихничёв, бывший тифлисский священник, издававший газету “Встань, спящий!”, полную революционных воззваний. “... Не должно быть господства и насилия... За эту идею нас будут преследовать, потому что те, которые живут одним господством и насилием, должны преследовать борцов против них; потому что за эту идею Христа распяли; потому за эту идею людей вешают, расстреливают, в тюрьму сажают, священников сана лишают; чиновников, рабочих и других труженников выгоняют со службы, лишают права трудиться и обрекают на голод. Мы всё же будем служить этой идее”.

“Красным пастырем” называли неистового проповедника, который, по его собственным словам в написанной через много лет автобиографической заметке, “за редактирование журнала “Встань, спящий!” и агитацию в войсках был арестован и заключён в Карскую крепость. Наказание отбывал в Метехском замке... Весь период с 1907 по 1914 гг. был для меня временем сплошных скитаний и высылки из одного города в другой”.

В 1909 году “красный пастырь” проживает в Царицыне, где издаёт журнал “Слушай, земля” и газету “Город и деревня”, пытается привлечь к сотрудничеству известных писателей, пишет Блоку о цели издания — “служить Ивану Простому”. Получив письмо, Блок делает запись в записной книжке: “Поехать можно в Царицын на Волге — к Ионе Брихничёву. В Олонецкую губернию — Клюеву. С Пришвиным поваландаться? К сектантам — в Россию”.

Он даёт согласие на сотрудничество и посылает стихи Клюева. Одно из них — “Под вечер”, герой которого “с молчаливо-ласковым лицом” отправляется на плаху, — печатается в газете “Царицынская жизнь”. В одном из номеров журнала “Слушай, земля” Блок и Клюев указываются как сотрудники. А уже в конце сентября того же года Брихничёв сообщает Блоку о закрытии журнала и о своей высылке из Саратовской губернии и предполагает выпускать в Петербурге народный журнал “Пламень огненный”. Но оказывается в Москве, где начинает издавать журнал “Новая земля”, ставший печатной платформой “голгофского христианства”.

“Что такое голгофское христианство” — так назвал Брихничёв свою брошюру, выпущенную в 1912 году, где объявил, что церкви — “это своего рода дисциплинарные батальоны для исправления “преступников”, что современное ему христианство — “это жестокое учение, по которому “праведник” может спокойно блаженствовать “в раю”, когда грешник томится муками адского пламени... система **самоспасания**, личной святости, дрожания только за свою шкуру (моя хата с краю)”. А голгофское христианство — религия свободного человека — учит “не самоспасанию и рабским добродетелям... а иному — **Спасению Целого. Не всё для себя** (для своей души), **а всё для всех** (для тела и души всего человечества)... Я уверен, что **рая** как блаженства нет и не будет, **пока все не спасутся**... Огнём горящие, пламенеющие сердца человеческие, **объединённые одним общим желанием воскрешения Всего**, составят из себя то Вселенское Пламя, в котором, как сказано, — старая земля и все старые дела сгорят. И явятся Новое Небо и Новая Земля. И от пламени этих живых факелов загорятся угасшие души. Воскреснут мёртвые. И все земнородные возрадуются”. Здесь явно слышен мотив, заимствованный у Николая Фёдорова, его “Философии общего дела”: “... Нужно сказать, что история есть всегда **воскрешение**, а не суд, так как предмет истории **не живущие**, а **умершие**, и чтобы судить, нужно прежде воскреснуть, — хотя бы и не в прямом смысле, — нужно воскресить их, умерших, то есть понесших уже высшую степень наказания, смертную казнь”... Брошюра “Что такое голгофское христианство” завершается впервые публикуемым стихотворением Клюева “Песнь утешения”, — где готовится брань со смертью и поётся песнь в ожидании всеобщего воскрешения:

*Запеклися кровью губы,  
Жизнь иссякла в телесах...  
Веют ангельские трубы  
В громозвучных небесах.*

*Пробудитесь, светы-друзи,  
Иисусовы птенцы,  
Обрядитесь в кольчуги,  
Навострите кладенцы!*

.....  
*Победительные громы  
До седьмых дойдут небес,  
Заградит твердынь проломы  
Серафимских копий лес.*

*Что, собратья, приуныли,  
Оскудели моготой?  
Расплесните перья крылий,  
Просияйте молоньей.*

*Красотой затмите зори,  
Славу звёзд, луны чертог,  
Как бывало на Фаворе  
У Христовых чистых ног.*

Ближайшими соратниками Брихничёва становятся старообрядческий епископ Михаил (Семёнов), собственно автор идеи общины “голгофских христиан”, будущий автор замечательных повестей: “Великий разгром”, посвящённой трагедии церковного раскола XVII века, и “Второй Рим”, посвящённой Византии, – и о. Валентин Свенцицкий, создатель совместно с В. Эрном “Христианского братства борьбы”, целью которого было созвать церковный собор и Учредительное собрание, уничтожить эксплуатацию труда и частную собственность на землю, автор книг о Толстом, Достоевском и Владимире Соловьёве, пьесы “Интеллигенция”, где предупреждал: “. . . если у нас не хватит сил слиться с верой народной – на русской интеллигенции надо поставить крест”.

На страницах “Новой земли” проповедники развернулись вволю в своих проповедях “нового христианства”, подчас балансируя на грани ереси, а то и переходя за эту грань. “В сущности у христианина возможна одна молитва: Христос, дай мне силу бороться за царство Твоё. . . Не того хочет Он, чтобы мы бессильно припадали, полные скорби и слёз, а чтобы полные силы – уничтожили кресты с лица земли, Его кровию политой”. Так писал епископ Михаил и продолжал в статье о Хомякове: “Хомяков был церковник, и однако он не скрывал, что Церковь давно – очень давно – отступила от своего дела, от завещанной ей Христом миссии. . . Теперь он должен был сказать прямо и нетерпимее во имя Христа: старая религиозность, старая церковь обанкротилась. Ищите новой Церкви, новой веры, которая действительно хотя бы попыталась поднять крест над жизнью”. В анонимных “Письмах одинокого человека” высмеивались “шалуны” из стана религиозной интеллигенции: Мережковский, “если и “шалун” немножко, то во всяком случае, в общем, человек и серьёзный, и смелый, и устойчивый. . . Но вот Николай Бердяев и Вячеслав Иванов – это несомненные “шалуны”!.. Я лично самым решительным образом думаю, что никакой религиозной интеллигенции нет. . . Религиозная русская интеллигенция состоит не из верующих людей, а из людей приспосабливающихся. . .” Ещё отдельно досталось Бердяеву, пришедшему от позитивизма “к самому узкому традиционному, беспросветному православию. . . Нездоровый дух петербургских “салонов”, “собраний” и пр. и пр. может быть очень благодетелен для музыкантов, поэтов, художников. . . но для религиозной души – он создаёт враждебные условия”. Автор под псевдонимом “Далёкий друг” делился своими размышлениями о христианстве: “Чёрное монашество лучше христианство окрасило всю религию чёрной тенью голгофского креста. Как будто бы вечными событиями Голгофы исчерпывается и заканчивается история земной жизни “Иисуса”. Словесно оно верует в Евангелие во всей полноте, но в религиозную психологию свою, в жизнь восприняло только яз-



вы на руках и ногах Его, кровавый пот... Это не голгофское христианство: нет в нём религиозной полноты. Оно односторонне и потому ложно. Но всё же это не “подделка”. Ибо в Голгофе было страдание... В глазах Христа была скорбь, но в них отражалась и “Зелёная Галилея”... Вера в Голгофу, понятая не как “казнь” — а как победа над самой страшной “мировой казнью”, над смертью, — сделает человека бесстрастным в смысле отсутствия рабской привязанности к наслаждениям плоти, равнодушным ко всем личным недугам, сильным и бесстрашным в борьбе со злом мира во всех его безграничных проявлениях...”

Тот же “Далёкий друг” откликнулся на уход Толстого: тот, по его словам, “убежал от лжи, которая мучила его, начиная с слабости, уступку, отравляющую каждый день, каждый час долгие годы его религиозной проповеди...” Не пощади сей автор и жену писателя: “...именно она была главной виновницей той лжи, в которой задышался Толстой... Толстой бежал от “толстоства”... Толстой с ужасом бежал от этой карикатуры на себя... Он бежал от пустых слов — к живой жизни. От лжи — к правде. От смерти — к воскресению... Толстой, во всяком случае, начинает новую жизнь. Новая жизнь его является прежде всего великим творческим актом человеческого духа”... Ещё недавно, в одном из ранних номеров, епископ Михаил дал волю сдержанному возмущению толстовской ересью: “И пусть мне простит уважаемый Лев Николаевич — его попытка разорвать Евангелие на извлечения и склеить из них “руководство к христианству” было своего рода кошунством. Обесценивалось великое откровение, которое не может быть оторвано от Христова лика и дано гораздо более в евангельских фактах, чем в евангельских словах...” Теперь же, сдаётся, тот же Брехничёв готов послать письмо и Льву Толстому с предложением о сотрудничестве. Как сам делился воспоминаниями — “помню, каких трудов мне стоило повидаться с великим писателем. Как мы обходили даже место, чтобы не встретиться с достоуважаемой Софьей Андреевной. Как тормозил свидание Гусев. Как потом во время моего разговора с Львом Николаевичем несколько раз перебивали меня, шепча на ухо, пора де кончать...” “Лев Николаевич утомился...” Но слава Богу — он ушёл...” Впрочем, епископ Михаил и после известия о смерти Толстого не изменил своего отношения: “Мы не единомышленники Толстого. Нам неприемлемо его евангелие, опустошающее землю от культуры... его серое христианство пяти упряжек, христианство отрывного календаря — не то, которое нужно, чтобы сделать новой землю, принести ей давно желанное воскресение... Но, как и все, — мы прошли через Толстого. Ему мы обязаны спасительной тревогой совести”. А для Брехничёва “смерть Толстого свершилась как т а и н с т в о” — и сие свидетельство для “Новой земли”, что “Бог посетил народ свой”.

Брехничёв пишет об “апостоле милосердия и всепрощения Викторе Гюго”, об “апостоле религиозной терпимости Себастиане Кастеллионе”, об “апостоле прогресса Кондорсе”, об “отце реформации Мартине Лютере” — и везде и всюду один рефрен: “Для того чтобы наша жизнь не превратилась в стоячее болото — нужно, чтобы люди поддерживали в себе постоянный огонь. А для этого нужно верить в своё призвание здесь, на земле, в смысле жизни. Всякая отжившая система, а в том числе и религия, — не даёт такой воды, поэтому поскорее должно столкнуть обнищавший фетиш в реку забвения и заменить его Новым, Живым Богом”. Как сформулировал “наши ближайшие задачи” о. Валентин Свенцицкий — “Идеи о новой земле, о земном Христе, об общественном христианстве, о царстве Божьем не только на “небеси”, но и на “земли”, — идеи голгофского христианства, когда они дойдут до религиозного сознания народа, они вызовут в нём к жизни скрытые уснувшие религиозные силы. Они создадут д в и ж е н и е. Они снова пробудят религиозное творчество”.

В течение следующих полутора лет Клюев печатает стихи в “Новой земле”. И голос его звучит в унисон с голосами новых собратьев. Одно из стихотворений, “Голос из народа”, — ключевое для него в этот период — он посвящает “русской интеллигенции”.

*Вы — отгул глухой, дремучей,  
Обессилевшей волны,  
Мы — предутренние тучи,  
Зори росные весны.*

*Ваши помыслы — ненастье,  
Дрожь и тени вечеров,  
Наши — мерное согласие  
Тяжких времени шагов.*

*Прозревается лишь в книге  
Вами мудрости конец, —  
В каждом облике и миге  
Наш взыскующий Отец.*

*Ласка Матери-природы  
Вас забвеньем не дарит, —  
Чародейны наши воды  
И огонь многоочит.*

Это не только эмоциональное и интонационное созвучие переписки с Блоком. Это не только переключка с Ионой Брихничёвым и о. Валентином Свенцицким. Это прямая полемика с прежним кумиром П. Якубовичем, с его рассуждениями из книги “В мире отверженных”:

“Как он могуч и как вместе тёмн и слеп, этот несчастный труженик народ, и как жалка ты, зрячая интеллигенция, пылающая горячей любовью к нему, мечтающая о вселенском братстве и счастье, но имеющая такие слабые руки, такую ничтожную волю для осуществления высокого идеала! Кричи, плачь, взывай — твои вопли бесплодно замрут в глухом лабиринте действительности и не будут услышаны титаном, оглушаемым дикой музыкой своей повседневной работы, этими звуками, от которых вздрагивает мать-земля и с нею наше бессильное, пугливое сердце”.

Нет, для Клюева порыв интеллигенции, действительно пылающей любовью к народу, неприемлем такой исход. В его душе, поистине, нет этой непреходимой черты, и сердечное устремление к народной стихии найдёт свой отзыв.

*За слиянье нет поруки,  
Перевал скалист и крут.  
Но бесплодно ваши ступи  
В лабиринте не замрут.*

*Мы, как рек подземных струи,  
К вам незримо потечём  
И в безбрежном поцелуе  
Души братские сольём.*

Иное дело те, кто дичится народа, для кого народ — “другая раса”, кто не знает и не желает знать народной души и измывается над народной плотью. С ними разговор совсем другой.

*Вы на себя плетёте петли  
И наостряете мечи,  
Ищу вотще: меж вами нет ли  
Рассвета алчущих в ночи?*

.....  
*В мой хлеб мешаете вы пепел,  
Отраву горькую в вино,  
Но я, как небо, мудро-светел  
И не разгадан, как оно.*

*Вы обошли моря и сушу,  
К созвездьям взвили корабли,  
И лишь меня — мирскую душу,  
Как жалкий сор пренебрегли.*

В поддонный смысл Клюевского “Пахаря” заложено и пророчество Исаяи, и стихи из Книги Иезекииля и Деяний и послание апостола Павла Коринфя-

нам. Но превалирует над всем гневный глас Христа: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас”.

*Работник Господа свободный  
На ниве жизни и труда,  
Могу ль я вас, как терн негодный,  
Не вырвать с корнем навсегда?*

Народ – Христос. Униженный и распинаемый новыми книжниками, которые в лучшем случае смотрят на него, на его духовные сокровища, как на игрушку для баловства... “Я обещаю вам сады, где поселитесь вы навеки, где свежесть утренней звезды, где спят нешепчущие реки”, – щебетал Константин Бальмонт, упражнявшийся заодно в стилизации “хлыстовских песнопений”, создававших впечатление поверхностного прикосновения и бессмысленного словоизвержения человека, едва ли понимающего – с чем он играет, создавая свои вариации.

Можно ли было оставить это завлекательное щебетание без ответа?

*На зов пошли: Чума, Увечье,  
Убийство, Голод и Разврат,  
С лица — вампиры, по наречью —  
В глухом ущелье водопад.*

*За ними следом Страх тлетворный  
С дырявой бедностью пошли, —  
И облетел ваш сад узорный,  
Ручьи отравой потекли.*

*За пришлецами напоследок  
Идём неведомые Мы, —  
Наш аромат смолист и едок,  
Мы освежительней зимы.*

*Вскормили нас ущелий недра,  
Вспоил дождями небосклон,  
Мы — валуны, седые кедры,  
Лесных ключей и сосен звон.*

Этот “сосен звон”, сливающийся с песнью любимой матери, с шумом северного холодного ветра облекает лёгким холодом тело, вселяет покой в душу, навеивает грустные воспоминания, а сосны, качая кронами в такт его нешумным порывам, безмолвно беседуют с тем, кто постигает тайну их шума.

*В золотканые дни сентября  
Мнится папёртью бора опушка.  
Сосны молятся, ладан куря,  
Над твоей опустелой избушкой.  
.....  
Я узнаю косынки кайму,  
Голосок с легковейной походкой...  
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,  
Про мерцание звёзд за решёткой,  
  
Про бубенчик в жестоком пути,  
Про седые бурятские дали...  
Мир вам, сосны, вы думы мои,  
Как родимая мать разгадали.*

...Стихи, напечатанные в “Новой земле”, станут основой первых его книг – “Сосен перезвон” и “Братские песни”.

(Продолжение следует)